

Лара Выходцева

Пуговица



Лара Выходцева

Пуговица

<https://litres.ru/74458538>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Пуговица» — это история о том, как одна маленькая вещь может хранить в себе целую жизнь, а молчание — быть тяжелее крика. Нора Кейсин возвращается в родной городок спустя двенадцать лет, чтобы похоронить мать, и находит в старой шкатулке костяную пуговицу с четырьмя дырочками. Она пробуждает воспоминания, которые Нора прятала двадцать три года: день, когда она, восьмилетняя девочка, толкнула лучшего друга Тобиаса — и он упал затылком на камень. Страх и чувство вины заставили её скрыть правду, а мать, догадавшись, взяла эту тайну на себя и хранила её до самой смерти. Теперь пришло время сказать вслух то, что столько лет лежало под слоем песка и молчания. Это рассказ о детской вине, материнской жертве и освобождении через признание — о том, как тяжело нести чужую тишину и как страшно, но необходимо наконец произнести: «Это сделала я».

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Лара Выходцева

Пуговица

Глава

Посвящается моей горячо любимой старшей дочери Кристине, которая очень любит Стивена Кинга.

Рассказ

Часть первая. Шкатулка

Нора Кейсин вернулась в Порт-Хебер в ноябре, через четыре дня после того, как ей позвонили и сказали, что её мать умерла.

Она не хотела возвращаться. Двенадцать лет не возвращалась. Двенадцать лет придумывала причины, и каждая была лучше предыдущей, как камешки, которые ребёнок выкладывает в ряд, чтобы не наступать на трещины в тротуаре: работа, здоровье, погода, билет на «Грейхаунд» слишком дорогой, отпуск не дают, машина в ремонте, кошка больна (кошки у неё не было; кошка появилась позже, и именно для того, чтобы было кого оставить, когда не хочется ехать). Настоящая причина была проще и хуже. Намного хуже. Она не могла. Не могла, и всё. Как не можешь войти в комнату, где тебе было больно. Не потому что боль прошла. А потому что не знаешь, прошла ли. И пока не войдёшь — не узнаешь. А

входить не хочется. И вот так двенадцать лет.

(Вот в чём штука с памятью, думала Нора, ведя свой «Субару» по Третьей автостраде, мимо последних заправок «Шелл» и первых сосен, — она не лежит в голове, как файл в компьютере. Она лежит в теле. В костях. В том, как сжимается желудок, когда ты сворачиваешь на знакомую улицу. В том, как пальцы сами находят трещину в стене. Память — это не кино. Кино можно выключить. Память выключить нельзя. Можно только закрыть глаза и сказать себе: *меня здесь нет, это не моё, это приснилось кому-то другому.*)

Мать умерла от инсульта. Быстро. Так быстро, что даже не успела испугаться — Нора надеялась на это, хотя и понимала, что надеяться на такое глупо. Вторник, утро, кухня. Радио играло — Нора потом узнала, что играло «Гарднер-Фоллз», утреннюю передачу, которую мать слушала тридцать лет подряд, с тех пор как умер отец. Эдит Кейсин пекла яблочный пирог для церковной ярмарки. Упала лицом прямо в тесто. Соседка, миссис Коллинз — та самая миссис Коллинз, которая сорок лет стригла лужайку в шесть утра и пела при этом «You Are My Sunshine», фальшивя на каждом втором слове, — нашла её в три часа дня. Пирог остыл. Тесто прилипло к щеке. К щеке и к волосам, и к закрытому левому глазу.

Миссис Коллинз потом говорила всем — в бакалее Харлоу, у стойки в закусочной «У Салли», в методистской церкви, где сидела в третьем ряду и громко сморкалась в платок:

«Она выглядела мирно. Как будто уснула».

Нора знала, что это ложь. Никто не выглядит мирно, упав лицом в пирог. Никто не выглядит мирно с тестом на щеке и радио, которое продолжает играть, потому что таймер у духовки не сработал и никто не выключил. Но миссис Коллинз нужна была эта ложь, как кислородная маска, и Нора не стала её отнимать. Люди имеют право на свои маленькие утешения. В Порт-Хебере их и так немного.

Похороны были в четверг. Маленькая методистская церковь на Мейн-стрит, та самая, где Эдит Кейсин сидела на четвёртой скамье слева тридцать семь лет, а Нора — на пятой, потому что четвёртая скрипела. Двадцать человек. Половину Нора не узнала. Они были старые, или молодые, или просто чужие — Порт-Хебер менялся медленно, но всё-таки менялся, как меняются все города, которые стоят у моря и понемногу в него сползают. Священник — не тот, что был при Норе, тот давно умер или уехал, Нора не помнила — сказал: «Эдит Кейсин была доброй женщиной, верной прихожанкой и любящей матерью».

Нора сидела в первом ряду и думала: *«Любящей»*.

Слово звучало правильно. И пусто. Как монета, которую крутишь на столе и не можешь понять, орёл или решка. Как слово, которое кто-то произнёс на похоронах твоей матери, и ты не можешь ни согласиться, ни возразить, потому что правда была сложнее, чем «любящая», и проще, и страшнее, и Нора не знала, как эта правда называется.

После похорон Нора осталась в доме матери. Не потому что хотела. А потому что нужно было разобрать. Вещи. Одежду. Посуду. Бумаги. Тридцать семь лет жизни в двухкомнатном доме на Кленовой улице. Тридцать семь лет, сжатых в коробки из-под обуви, в шкафы с запахом нафталина и лаванды, в ящики кухонного стола, где лежали инструкции к микроволновке «Дженерал Электрик», которую мать купила в 1994 году за двадцать девять долларов в «Уолмарте» в Огасте и ни разу не включила. (Нора нашла инструкцию. Открыла. На первой странице, шариковой ручкой, почерком матери: *«Разогрев: 2 минуты. Не больше. Иначе взорвётся»*. Мать так и не узнала, что микроволновки не взрываются. Или узнала, но не поверила.)

Два дня Нора разбирала. Механически. Без слёз. Без воспоминаний. Просто руки. Руки берут. Руки кладут. Руки закрывают коробку. Руки берут следующую вещь. Свитер. В коробку. Тарелка. В коробку. Фотография отца в рамке — лицо обгоревшее, не от солнца, от времени, — в коробку. Книга. В коробку. Ещё книга. В коробку. Ещё.

На третий день, в пятницу, в четыре часа пополудни, когда за окном уже темнело — в Мэне в ноябре темнеет рано, как будто кто-то закрывает ставни на небе, — и море за домом гудело низким, ровным гулом, тем самым гулом, который ты слышишь не ушами, а зубами, — Нора открыла шкапу для шитья.

Деревянная. С выдвижными ящичками. Тёмное дерево —

дуб или орех, Нора не помнила, — пахнущее лавандой и пылью, и чем-то ещё, чем-то сладковатым и старым, как пахнут вещи, которые долго лежали в темноте и ждали. Верхний ящик: нитки, катушки «Гутерман», иголки в подушечке-еже, той самой, что Нора помнила с пяти лет, с оторванным одним глазом-бусинкой. Второй: пуговицы в жестяной коробке из-под леденцов «Брэтс», жестянка с выцветшей картинкой — мальчик в матроске. Третий: булавки, ножницы, сантиметровая лента, жёлтая, скрученная.

Четвёртый. Нижний.

В нём лежал моток шерсти. Серой. Грубой. Той самой, из которой в Мэне вяжут носки, потому что больше ни на что она не годится. И под шерстью — бумажный свёрток. Маленький. Аккуратный. Бумага пожелтела, но не рассыпалась. Кто-то завернул что-то в бумагу очень давно и очень аккуратно. Так заворачивают то, что не хотят потерять. Или то, что не хотят видеть. Но нужно хранить. Нужно, чтобы было. Чтобы лежало. Чтобы ждало.

Нора развернула.

Пуговица.

Костяная. Пожелтевшая. Четыре дырочки. Старая. Не современная, не пластиковая, не та дрянь, которую пришивают к рубашкам из «Таргета». Настоящая. Такие делали давно. Может, до войны. Может, до Первой мировой. Края стёрты. Поверхность гладкая, как от тысячи рук, которые её держали. Или от одной руки, которая держала её двадцать три года.

Теперь Нора держала её на ладони. И что-то произошло.

Не воспоминание. Воспоминание было бы проще. Воспоминание — это кино. Можно посмотреть. Можно выключить. Можно перемотать. Это было другое. Это было *тело*. Тело вспомнило раньше головы. Так бывает — Нора читала об этом, в какой-то книге по психологии, которую не дочитала, — когда травма сидит не в мозгу, а в мышцах, в нервах, в том месте, где желудок встречается с горлом. Рука сжалась. Желудок сжался. Горло сжалось. Как будто она держала не пуговицу, а что-то живое. Что-то тёплое. Что-то, что бьётся. Маленькое сердце. Четыре удара в секунду. Тук-тук-тук-тук.

Нора положила пуговицу на стол. Отошла. Села на стул — тот самый, с продавленным сиденьем, на котором мать сидела тридцать семь лет и который помнил форму её тела. Смотрела.

Пуговица лежала на клеёнке в цветочек. Маленькая. Безобидная. Костяная. Четыре дырочки смотрели в потолок, как четыре крошечных глаза.

Нора сказала вслух:

— Откуда ты?

Пуговица не ответила. Пуговицы не отвечают. Но Нора знала — знала тем местом, которое знает раньше разума, тем местом, которое живёт в животе и в позвоночнике, — что эта ответит. Не сегодня. Не сразу. Но ответит. Потому что двадцать три года молчания — это слишком долго. Даже для пуговицы.

Она не выбросила её. Не положила обратно в шкатулку. Положила в карман куртки — старой, «Л.Л. Бин», зелёной, купленной в девяносто восьмом. И пошла спать.

Не спать. Лежать. С закрытыми глазами. С пуговицей в кармане, которая была тёплой. Слишком тёплой для куска кости.

Часть вторая. Пляж

Она не спала.

Лежала в кровати матери, которая была маленькой, как будто детской, как будто Эдит Кейсин всю жизнь была девочкой и не выросла, — и ноги упирались в изножье, и простыня пахла лавандой и чем-то медицинским, и подушка была плоская, как блин, и Нора думала: *как она здесь спала тридцать семь лет, как она здесь лежала и смотрела в этот потолок и не сошла с ума.*

Потолок был тот же. Трещина от люстры к углу, как шрам. Пятно от протечки 2003 года, бурое, похожее на карту какой-то страны, которой нет. Обои — выцветшие розы, которые мать не меняла с 1989 года. Нора помнила, как их клеили. Отец ещё был жив. Стоял на стремянке и ругался, потому что розы не совпадали на стыках. Мать держала снизу и говорила: «Гарольд, левее». А отец говорил: «Эдит, я стою там, где стою». И так три часа. И розы так и не совпали. И двадцать три года Нора смотрела на них и видела несовпадение. Маленькое. В полдюйма. Как будто мир чуть-чуть сдвинулся и не вернулся.

И Нора вспоминала.

Не хотела. Но вспоминала. Как вспоминаешь то, что тридцать лет прятал за закрытой дверью, и вот дверь открылась — не ты открыл, кто-то другой, что-то другое, какая-то сила, которая старше тебя и терпеливее, — а за дверью не пустая комната. За дверью — всё. Всё, что ты оставил. Всё, что ждало. Терпеливо. Как собака у двери. Не скулит. Не скребётся. Просто сидит. И смотрит. И ждёт.

Она вспоминала Порт-Хебер. Октябрь. Ей восемь. Школа — два класса, тридцать два ученика, одна учительница на всех, миссис Гарвей, которая носила одну и ту же юбку три дня подряд и пахла мятными леденцами. Рыбацкий причал, где пахнет солью и ржавчиной и чем-то ещё, чем-то густым и рыбным, что въедается в одежду и не выстирывается. Лодки — «Джонни-Бой», «Мэри-Энн», «Счастливчик», — привязанные канатами, качающиеся на приливе, скрипящие. Чайки. Ветер, который сдирает шапку и несёт над морем, и ты бежишь за ней, и шапка быстрее, и ты знаешь, что не догонишь, но бежишь, потому что бежать — это всё, что ты можешь.

Она вспоминала Тобиаса.

Тобиас Финч. Восемь лет. Светлые волосы, которые не расчёсывались, которые торчали во все стороны, как одуванчик после ветра. Щербатая улыбка — передний зуб выпал в сентябре, на уроке чтения, и Тобиас сунул его в карман и носил три недели, пока не потерял, и потом два дня ходил

грустный, как будто потерял не зуб, а друга. Куртка синяя, «Л.Л. Бин», на вырост, с капюшоном, на застёжке три пуговицы, четвёртая оторвалась ещё в августе, и мать Тобиаса говорила: «Пришью в выходные», и выходные не наступали никогда. Тобиас говорил: «Мне и так нормально». И улыбался. Щербато.

Они дружили. С пяти лет. С того дня, когда Нора пришла в детский сад — маленький, в подвале методистской церкви, пахнущий мокрой шерстью и крекерами, — и плакала, потому что мать ушла и дверь закрылась и за дверью был весь мир, а здесь только чужие дети и чужая воспитательница, и Тобиас подошёл и сказал: «Не плачь. Хочешь, я покажу тебе краба?» И показал. Краб был маленький, серый, сердитый, жил в банке из-под арахисового масла на подоконнике. Он щёлкал клешнями и смотрел на Нору бусинками глаз. Нора перестала плакать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.